

В. Динабургский Соната ля минор (в сокращении)

1. После Сталинградской битвы наш отдельный дивизион "катюш" отвели на отдых и пополнение в небольшой городишко Калач, что на юге Воронежской области. Высокие думы отвесно и упруго подпирали безоблачное морозное небо.

- Должно быть, под тридцать будет, а то и более, — бубнил совершенно в дедморозовские усы пожилой ефрейтор Фалей, передавая мне из рукава в рукав, чтоб тепло не выдохлось, длиннополый овчинный тулуп с огромным шалевым воротником.[...]

Приняв от ефрейтора Фалея под охрану установки «М-13» искусно замаскированные под овин, крытый соломой, я стал, как и положено часовому, мерным шагом обходить свой пост, похрустывая утоптаным снежком.

2. Приближался вечер. Небо на западе пылало в малиновом закате. Редкие прожилки тонких перистых облаков, подкрашенных зарёй, уходили за холодную степь. Мороз крепчал. Бревенчатые стены овина и дощатый, наполовину разобранный на дрова забор попеременно потрескивали сухим пистолетным треском. С затемненной улицы, занесенной сугробами, доносился приглушенный солдатский говор, звонкий смешок калачевских молодок, скрип колодезного журавля да звяканье пустых ведерок. Иногда, то смолкая, то возникая вновь, рвалась на морозную волю гармошка, не привычная к тесной избе. Обрывки знакомой мелодии ласкали слух. Я даже слегка ослабил завязки шапки-ушанки, чтобы не пропустить лишний раз полюбившейся песни. "Иногда за туманами..."

Вдруг гармоника пропала. Её место грубо заступил непонятный звук, похожий одновременно и на рычание и на рыдание. Я насторожился. Звук шёл из-за овина. Вскинув автомат на руку, я осторожно шагнул за угол.

— Стой! — растерянно завопил я, разглядев человеческую фигуру, прислонившуюся в какой-то неестественной позе к стенке. На мой окрик фигура не отозвалась, не пошевелилась. Подойдя ближе, я опустил автомат. Передо мной был пленный. Пленный итальяшка...

3. Они шли без конвоя – десятками, сотнями, тысячами. [...]

Овца, отбившаяся от стада, пропавшая овца.

Такая овца, окоченевшая, голодная, измождённая, понуро стояла передо мной, готовая к самому худшему, а потому и безразличная ко всему. Худые плечи остро торчали сквозь подбитую ветром, затасканную бесформенную шинель. Руки почти до самых локтей были втиснуты в обтрёпанные рукава. Поверх зелёной пилотки с опущенными бортами наверхена старая мешковина, на ногах тяжёлые, плетённые из соломы снегоступы. Мне показалось, что пленный спит или замёрз. Поэтому я не очень учтиво (всё-таки враг!) начал толкать его в бока, пинать ногой. Даже угрожал автоматом, но он не двигался, никак не реагировал на мои усилия. Только обмороженные, обветренные губы выдавливали какие-то непонятные слова, среди которых чаще других мелькали "фине" и "капут".

- Ну и подыхай, чёрт с тобой, макаронник несчастный! — выпалил я в сердцах, отчаявшись расшевелить замерзавшего итальянца.

Выплеснув разом всю свою злость, как иногда бывает, я вдруг прозрел: в одно мгновение мой несравненный тулуп с головой накрыл сжавшегося в комок несчастного пленного. Он зашевелился, поплотнее запахнув длинные полы, и ещё крепче прижался к стене. Скоро прибыла смена, и итальянца пришлось вытряхнуть из рая, пахнущего тёплой овчиной, а

тулуп по принадлежности перешёл к моему сменщику. Очутившись снова на морозе, пленный дрожал частой дрожью, выстукивая челюстями морзянку.

4)- А ведь загнётся бедолага на таком-то морозище, — сочувственно отозвался мой сменщик. — Как пить дать, загнётся. К утру станет ледышкой бесчувственной. Вон их сколько вдоль дорог-то чернеет, воронью горластому на потеху.

Ох, и отходчива душа русского солдата! Да и то сказать, какой он теперь враг? Даже злости на него нету. Одна жалость. Все же, как-никак, — человек. От поста до дома учителя, где квартировал наш взвод, — с полкилометра, а то и чуть более. Всё это расстояние я гнал перед собой пленного резвой трусцой, а то и рысью. Он задыхался, падал, вставал и снова трусил, не вынимая рук из рукавов.

В дверях тёплая волна духмяного пара, смешанного с запахом сохнувших портянок и кислых щей, плотно окутала нас. Когда дверь затворилась, старшина, /важно восседавший на хозяйском месте во главе стола, без ремня и с расстёгнутым воротником гимнастерки, вопросительно воззрившись на вошедших, /от неожиданности опешил/ и стал машинально застегивать надраенные медные пуговицы на вороте. Его белесые брови медленно стали ползти к лоснящимся залысинам, а тело отрываться от широкой лавки. Упершись руками в край столешницы, он уже готов был произнести свою любимую фразу: "А это что за гусь?!" Но "гусь" опередил события, и столь любимая старшиной фраза на сей раз произнесена не была, так как, уловив интуицией угрожающие намерения начальника (так, надо полагать, пленный итальянец, представил себе старшину), он/ неожиданно рухнул перед ним на колени, воздев обвязанные тряпьем руки к небу, хриплым, простуженным голосом запричитал: "Гитлер капут! Муссолини капут! Санта Мария..." Он ещё что-то лепетал на своём певучем языке, взывая о пощаде, и чёрные слёзы ползли по его давно не бритым впалым щекам.

— Ты — фашистен? — ткнул в пленного пальцем явно смутившийся старшина.

— Найд! Найд! — завопил пленный, мотая головой. — Гитлер капут, Муссолини капут!..

— Ладно, слышали, — смягчившись, махнул рукой старшина. — Нехай греется.

Пленный всё понял. Он истово боднул в благодарном поклоне затоптанный пол и ужом скользнул к жарко пылающей голландке. /Сквозь щели плохо подогнанной дверки красные блики пламени затрепетали, заплясали на чумазом лице пленного, готового влезть прямо в топку. /Опасаясь, что он и впрямь сожжёт свои бесчувственные с мороза руки, ефрейтор Фалей отеснил его своим гигантским валенком чуть подалее от раскалённой дверки, поучительно буркнув: "Ить сгоришь, ирод!"

Тем временем принесли ужин: перловую кашу с салом и чай. [...]

Перекладывая пайки слегка подмороженного хлеба, старшина, как бы между прочим, как бы невзначай, буркнул: - Про гостя-то не забудьте.

Отходчива душа твоя, русский солдат! Отходчива и добра. Не держишь ты зла в её глубинах, не носишь камней за пазухой, хотя есть тебе за что мстить врагу, есть за что ненавидеть его лютой ненавистью. Ох, есть за что! За спаленные села наши, за города, в руинах лежащие, за поруганную землю. За миллионы душ, замученных, расстрелянных, полонённых. За тех, кто пал на поле брани и кому пасть в грядущих боях суждено. За материнское горе, за вдовьи слезы. Природа наделила тебя разумом трезвым и рассудительным, а душой мягкой, незлобливой. В бою к врагам ты беспощаден и неистов. Храбрости тебе не занимать. Ради победы живота своего не пожалеешь, ради свободы Родины ни перед чем не остановишься. Весь мир твоей доблести дивится, стойкости и мужеству поражается.

Но враг, сложивший оружие, — бывший враг. Вот и сидит он перед тобой у тёплой печурки, твой бывший враг, и поистине с собачьей сноровкой за обе щеки уминает солдатскую кашу, да крутой чай с сахаром. По его лицу бродит блаженная улыбка, какая бывает только у младенцев да у тронутых разумом.

— Более не подкидывай ему. Буде, — со знанием заметил старшина. — А то может быть худо, с голодухи-то.

5. — Ну что, отбой! — не то предложил, не то скомандовал старшина, с трудом стягивая трофейный офицерский сапог. В это самое время, ненароком перехватив взгляд нашего гостя, впервые осмелившегося поднять глаза от пола, я заметил, как он долго и заворожено задержался на том месте, где скромно висела хозяйская скрипка. Хозяин дома был учителем математики и по совместительству, за неимением специалиста, вёл ещё и уроки пения. В этом деле ему и помогала скрипка, на которой он научился воспроизводить немудрёные мелодии русских и советских песен. Итальянец смотрел на скрипку так, как голодный пёс смотрит на краюху хлеба — не решаясь схватить её и не рискуя попросить, дабы опрометчивым действием не разрушить иллюзии созерцания.

— Ты что, играешь? — спросил я итальянца, кивком головы указав на скрипку.

— Я, я, — простуженно прохрипел пленный, подавшись всем своим существом и в прямом, и в переносном смысле к заветному инструменту.

С согласия хозяина я снял запылённую скрипку со смычком, сплошь затянутым серой паутиной, и передал инструмент итальянцу. Он взял её бережно, как ребёнка, сдул осторожно густую пыль, оттер рукавом шинели лакированную спинку и фигурные вогнутые бока, потрогал большим пальцем правой руки поочерёдно все струны, низко склонившись над декой, почти касаясь её оттопыренным ухом. Затем уверенно подтянул струны, неслышно настроив их. Наладил смычок, оборвав два-три болтающихся волоска. И вдруг одним рывком, смахнув на пол шинелишку, ловко воткнул скрипку между левым плечом, хранящим ещё след узкого погона, и острым своим подбородком, взмахнул смычком...

6. Старшина, совсем было изготовившийся ложиться спать, как скинул один трофейный сапог, так и замер. Обстоятельный ефрейтор Фалей, вынув изо рта свою козью ножку, позабыл о ней окончательно, пока она сама собой не докоптила до конца. Хозяйка, свесив с печи ноги, обутые в стоптанные валенки домашней работы, чисто по-бабьи подперев щеку ладонью, тихо раскачивалась из стороны в сторону. Хозяин скрипки, округлив и без того огромные в сильных очках глаза, немигающе уставился на музыканта, поражаясь не столь искусству итальянца, сколь затаённым возможностям своей скрипки, о которых, по простоте душевной, он даже и не догадывался.

Я, привалившись спиной к дверному косяку, всматривался в разительно изменившееся лицо итальянца, обретающего с каждым взмахом смычка убитое войной человеческое достоинство. Он расправил плечи, плавно поводя скрипкой из стороны в сторону в такт могучим аккордам какой-то незнакомой, но чарующей мелодии. Просторная изба учителя неожиданно наполнилась музыкой, легко нашедшей отзвук в простых наших солдатских душах. Мы не знали, о чём пела скрипка в руках пленного итальянца, мы не ведали о великих чародеях: Мендельсоне, Брамсе, Паганини, Вивальди, мы не предполагали, что в чудовищном мире войны и смерти есть место для кантат, рапсодий и сонат. Но мы чувствовали всеми клетками души, как эта музыка делает нас человечней, воскрешая в памяти самое сокровенное, самое доброе. [...]

Далеко за полночь окончился этот удивительный импровизированный концерт. Музыкант устало опустил скрипку. На пальцах его левой руки, тронутых морозом и отвыкших от лезвия струн, алыми капельками проступила кровь. Тёмные, глубоко запавшие глаза

итальянца улыбались, влажно поблёскивая, лучась великой благодарностью и великой любовью к тем, кто сперва отогрел его тело, а потом воскресил и душу, дав почувствовать всему существу его, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается.

Аплодисментов не было. Мы просто сгрудились всей массой вокруг ожившего сердцем музыканта, благодарные в свою очередь ему за высокое его искусство. [...] Из малопонятных итальяно-немецких фраз нам в конце концов общими усилиями и домыслами удалось установить, что перед нами не кто иной, как профессор Миланской консерватории, имя которого за давностью лет памяти моей сохранить не удалось.

Профессор музыки ещё несколько дней подкармливался и отогревался в нашем взводе. [...] По вечерам в избе учителя математики становилось тесно от гостей. [...] Солдаты слушали скрипку молчаливо, сосредоточенно, и волны музыки уносили их куда-то далеко-далеко, причем каждого в отдельности, рождая вместе с тем в их душах общую уверенность в том, что добро сильнее зла, а жизнь сильнее смерти.

7. При прощании, тщательно протерев толстые линзы своих очков, хозяин дома подарил итальянцу свою скрипку, так как считал кощунством прикоснуться к ней своими неумелыми пальцами. Мы, в свою очередь, снабдили профессора провиантом и махоркой, и он ушёл в морозное утро, где каждый шаг по скрипучему снегу приближал его к лазурной Италии. К новой Италии.